

* * *

Люди у природы научились украшать смерть.

Золото и пурпур осени — погребальный наряд фараона.

Только смерти нужна роскошь — чтобы заглушить, притупить боль. Жизнь хороша и так, какая бы она ни была серая, грязная, зелёная, незрелая...

* * *

На огромной снежной равнине лежат рельсы.

Из леса по одной, по две выбегают ёлки и стоят, как тётки в полушалках, горестно глядя вслед убегающим поездам.

Такие они одинокие, немолодые. На тонких ногах старые башмаки, утонувшие в снегу.

И хочется, чтобы остановился поезд, вышел хоть один человек и сказал: «Здравствуй, тётка. Ну, вот я и приехал».

Но поезда не останавливаются.

* * *

Всё в мире рождается от любви и умирает, когда любить не может и любви не рождает.

У жизни это единственная и простая истина.

* * *

Через лес устало идёт олень.

Его рога похожи на поднятые руки с беспомощно растопыренными паль-

цами. Может, он побеждён, а может, просто хочет, чтобы его оставили в покое.

Солнце опускается и лучом осторожно пробует воду в океане.

Где-то далеко трубят охотничьи рога. Смерть надвигается блестящей кавалькадой.

Олень не спешит. Он уходит в сторону солнца, но его рога всё-таки похожи на беспомощно поднятые руки...

* * *

Мещанство подобно той нейтральной середине цветов — немаркой — на которой менее всего заметна грязь.

Пусть неярко — зато не марко.

А грязь всё копится, копится...

* * *

Жизнь разменивает чудо на благополучие, сытую лень, заплывшие жиром мозги.

Дражайший пятак желаннее белого «Секрета». Его можно пропить с пользой в кабаке; он не утонет, как валкая посуда с красавчиком-капитаном.

Вот только жизнь — такая скачка, где своего скакуна надо выбрать в самом начале, и уж потом не вилить.

И — кто поставит на пятак, а кто — на парус.

* * *

Откуда-то издалека доносятся скрипучие звуки органа.

Неведомое божество играет на гигантской гармонике, дует в трубы, перебирает пальцами клавиши. Как в давних снах, уплывает, ускользает мелодия, и невозможно успеть остановить мгновение.

Листья падают на землю уже умершими. Им не больно, не холодно, и прохожие топчут их ногами. А вот какой-то старик старательно обходит каждый лист и, остановившись, запрокинув голову, смотрит на отлетающую в облака громаду собора. Трогает ладонью камень и подносит её к губам.

Время остановилось здесь, влипло в стены, забилося в щели. Не хочет уходить — ждёт, не появятся ли между колонн мальчик и девочка с печальными именами — Ромео и Джульетта.

Молчат своды, щурятся от света узкие окна.

Солнце просовывает палец и, как острым кинжалом, пытается нащупать кого-то в огромном храме.

Их нет здесь. Их нигде нет.

Ах, Шекспир, как горько отомстил ты всему человечеству... Ушёл и оставил оставшихся вечно страдать, думая о Ромео, оставил вечную боль по Гамлету и королю Лиру.

Страшно прикоснуться к этому слову, оно не говорит, почему и откуда берётся нечеловеческая эта сила у обычных с виду людей, хилых, с большими глазами, проживших всю жизнь в одном городе.

Гениальность?

А может, он жил всегда и помнит десятки этих своих жизней в телах трав, деревьев, собак и птиц? Может, он был скамьёй в соборе, на которой сидела Джульетта, болтая ногами и дожидаясь Ромео? А потом родился человеком и рассказал о них?

Наверное, и сейчас он где-то рядом... Иначе откуда вечное ощущение, что за тобой наблюдают неотступные, усталые глаза?

Всё возвращается. Надо только дождаться...

* * *

Осталось несколько листов.

Интересно, как и что я писала бы, будь это последние листы? Не в блокноте последние, а в жизни?

Человеку страшно поставить точку. И я, наверное, уместала бы строчки сначала в каждой клетке, потом — на обложке, с обеих сторон, потом на простыне, на полу, на лестнице. Я не дала бы им стать последними.

И, может быть, кто-то мудрый и всемогущий, увидев это, подарил бы мне ещё один блокнот за великую любовь к жизни...

* * *

Осень — это трезвость. Покой и мудрость, от которых уже веет вечным холодом.

И — лучший наряд в сундуке, заготовленный для последнего пути — чистый, лёгкий, не жизненно хрупкий.

Ни к чему уже прочность.

Он очень короткий, этот путь в никуда.

* * *

Не надо, не надо думать обо мне плохо.

Философские потуги этих блокнотов не претендуют на публикацию.

Улитка, оставляя в траве след, счастлива.

Может, и я так.

* * *

Строчка в конце стихотворения никогда не бывает случайной. Она с самого начала, как ключ в кармане, даже если ты не знаешь, что стихи уже есть.

* * *

Старый стал коломенский кремль...

Всё обошло это место. Даже весна. Разве и раньше это было не так? И о чём могут сказать эти старые стены?

О руках, которые сложили их с любовью и мастерством, о наивных людях со светлыми языческими глазами?

Они строили всё это не Богу — себе. Им не хотелось уйти бесследно. Топча их, мы топчем себя. И чем я лучше прочих... тем ли, что прихожу сюда не из любопытства?

Мы уже давно потеряли ключ от самой главной двери. И, чтобы не вспоминать о ней, забили грубыми кирпичами резную арку.

Всё равно она есть, эта дверь. Равнодушному пройти в неё труднее, чем верблюду сквозь игольное ушко. И любить других труднее, чем себя.

Может, потому и стих Ветер Времени...

Время останавливается перед наглухо закрытыми дверями доброты.

* * *

Как тяжело вспоминать самую страшную из измен — измену себе, и хочется ещё догнать, досказать, что-то поправить, отдать тот взгляд, то слово, которых когда-то не хватило.

Немыслимо долго живутся дни в разлуке с собой, и вдруг под ногами обрушивается уверенность в теперешнем «я», вроде бы мудром и даже всемогущем от прошедшего страдания, от обрётённой способности чувствовать чужое «я», как своё.

А хочется только одного — идти по весеннему лесу, и чтобы это был тот лес.

* * *

Почему я не люблю засыпать?

Всё ещё жаль, как в детстве, пропустить что-то самое важное?

Я знаю, что ничего не напишу за эти отыгранные у жизни часы. Но надеюсь на чудо, жду, как всегда ждала.

Только теперь — себя. Своих шагов на лестнице.

* * *

Моя радость потерялась где-то в детстве. Праздник закатился в уголок, и не нашли его.

Может, с того у меня лёгкий характер? Я радуюсь всему, что вижу, взамен того потерявшегося праздника.

Только рядом со всем этим живёт тихая девочка, которую, наверное, зовут Печаль. Ей не велят показываться, но и не прогоняют...

Разрыв между мной и тем, что происходит со мной в действительности, похож на ледниковую трещину. Её легко перешагнуть, но дна у неё нет.

Соединиться этим двум отколотым половинам нельзя, даже если их со страшной силой столкнуть, сдвинуть, притиснуть друг к другу. Лёд не растётся. Пусть он даже подтаёт.

Жестокая красота жизни в том, что в ней нельзя ничего повторить. Спектакль надо играть экспромтом, с блеском и отчаянием. Это подлинник, и любая подделка или копия выглядят жалко.

Нет ничего недостойнее, чем копировать собственную юность. Всё равно, что продавать постепенно на рынке одну за другой вещи из родного, единственного дома.

Чтобы прожить.

Не выжить — прожить.

Пр о ж и в а т ь себя, считая медяки, оставшиеся от очередной про-
дажи...

Кто не живёт вперёд — того нет нигде.

* * *

В древнем японском искусстве есть поразительный образ: колёса, не-
сущиеся в волнах. Высшего порядка движение: образ, усиленный много-
значностью обоих символов.

Это иносказательный портрет души — и трагический портрет. Един-
ственный путь познания истины — движение.

Начинает проясняться загадочность Будды, его непостижимая яс-
ность и безмятежный покой — отстранённость от потока жизни. «Се-
годня» — это завтрашнее «вчера», а как можно вмешаться в прошлое, не
нарушив тем настоящего и будущего?

Люди смотрят на Будду, как на загадку, пугающую их своей много-
значностью, не понимая, что видят только одну его ипостась. Это всего
лишь иллюзия присутствия — полузакрытые лукавые глаза, полуулыбка,
непонятный жест руки.

А кто видит, кто сможет уловить летящую, вечно несущуюся в волнах
душу Будды?

Можно купить изображение Бога, но невозможно приобрести, как не-
движимость, живую душу, поймать её, заставить остановиться — а значит,
умереть?

И люди оставляют Бога храму — им неуютно жить с ним в доме, это
не вещь на каждый день. А жить в храме нельзя...

Из этих двух истин нечего выбрать.

Много лет назад ещё были люди, которые могли жить среди пре-
красных вещей — теперешним страшно до них дотронуться. Когда-то
людям были необходимы такие вещи, это совершенство в каждом мо-
менте жизни.

Сейчас место таких вещей в музее. Они не могут служить атрибу-
тами уюта, каждодневного быта людям с опустевшими, испуганными
сложностью жизни душами. Сейчас — это предметы не столько по-
клонения, сколько мучительного недоумения. Музеи пустуют большую
часть дня.

Почему человек не может объяснить себя, исходя из себя самого?

Почему нужны сложные понятия, иносказания?

Где моя жизнь? Я иду СКВОЗЬ всё, ощущая постоянную ясность и по-
кой в себе, абстрагировавшись от всего. Как человек, едущий в поезде
спиной к движению, я вижу прошлое, прошлое, прошлое...

Сражается ли с прошлым Будда?

Лишь пугает полуулыбкой, глазами, устремлёнными за спину смотря-
щего на него.

Сквозь. Над тшетой.

Нирвана, за которой вечная бесприютность несущихся в волнах колёс...

Человек не хочет вырастать из своих семнадцати лет, пытается удержать юность. Не столько её, сколько ощущение беспредельности собственных возможностей.

Может, зря?

Всемогущество делает ленивым, и человек учится непоправимому — откладывать на потом.

А ведь на свете есть одна штука, которой никто до конца не верит: конечность.

* * *

Даже и кличек не осталось от тех лошадок, которые когда-то так резво мчались к невидимому финишу. Тогда-то стоило ставить на каждую.

Только теперь замечаем, что не поставили ни на пятак, ни на парус — из гордости и нелюбви к повторениям, из веры в собственную неповторимость.

И въехали в страшное болото банальности, не заметив, что в руках пусть те же поводья, но под седлом не тот ладный конёк, в какого верилось, а поросший мхом лешачий пень.

И непроходимая чаща кругом...

* * *

Наверное, радость жизни можно ощущать только тогда, когда чувство трагизма происходящего, не покидающее всю жизнь, станет привычным и почти незаметным, как долгая боль.

Надо жить каждый день...

Чтобы в любой момент можно было уйти без позднего сожаления, что отложил себя на потом. Хоть сейчас.

Когда-то эта мысль была дорога тем, что принадлежала только мне. А потом встретилась у старого восточного поэта:

Так песни пой, как будто день далёк,
В который смерть твоих коснётся щёк —
Но так живи, но так люби, как будто
Смерть переступит завтра твой порог.

Прежде умели быть краткими.

Всё чаще приходишь к мысли, что всё спето, передумано, сказано давным-давно, а нам дано только набредать на эти истины и удивляться им, как открытиям.

Раньше казалось, что мои мысли — только мои. С тех пор столько раз приходилось являться в патентное бюро с велосипедом...

Утешает одно — говорят, изобретать их полезно. А все озарения наши содержатся в строгом порядке в человеческой энциклопедии Экклезиаста, Гомера, Данте, Шекспира.

Умудрённое веками человечество продолжает танцевать всё от той же печки, и даже великие набивали об эту печку свои, неповторимые,

шишки — чтобы заявить потом кто что: «Действие равно противодействию» — одни, а другие просто: «Больно же головой-то о печку! Ох, больно!»

* * *

Человек всю жизнь ждёт чуда.

Только, когда оно рядом, кажется, что это такая же птица, как все. А потом улетает — и случайно находишь синее пёрышко.

* * *

Есть мёртворождённые люди.

Они живут рядом с нами и ведут себя почти как другие. Но в них спят сердце и чувство, они не способны ни на что живое и неожиданное — на срывы и ошибки, на безумства и сильные желания.

В них правильно и строго всё, как в покойниках — о тех и других не принято говорить плохо.

Они ничем не выдадут себя, но живое сердце чует их, как собака оборотня.

Не потому ли существуют в сказках упыри и вампиры, которые в сто раз более живучи, чем добрые простые люди, и которых может успокоить лишь крепкий осиновый кол?

* * *

Армия — дорогостоящее пугало, одетое по последней моде.

* * *

У меня всегда было странное, почти суеверное чувство ко всему написанному на бумаге.

Написанное теряет сиюминутность, оно родом из прошлого, а значит — непоправимо.

* * *

Мир страшен своими тихими превращениями.

Всё изменяется с иллюзией неподвижности, и человеку трудно заметить, как он всё дальше отходит от себя самого. Остаётся старая привычка встречаться с собой за полночь, только теперь мы молчим, и молчание это тягостно. А раньше таким не было.

Так случается между людьми, когда-то хорошо и близко знавшими друг друга, с похожими мыслями и снами. В один обыкновенный день они замечают, что их сиюминутное ощущение души другого осталось в прошлом; что свет, дружба, общие открытия — во вчерашнем дне.

И после вершины прекрасных по чистоте человеческих отношений наступил спад. Никто не нарушал этих отношений, но нельзя вечно жить на вершине...

И человек идёт теми же альпийскими лугами, которыми восхищался недавно, свежими долинами; видит всё тот же ослепительный мир — но с ощущением того, что идёт назад, вниз.

И сознание это неуловимо совершает печальную подмену, отмечая, что виденное — не впервые и по дороге о б р а т н о.

Может, не обязательно в человеческих отношениях должны быть восхождения, вершины и спуски. Может, есть счастливы, которые всю жизнь идут по равнине. Они не видели неба так близко, но им и не знакома неповторимая мука возвращения вниз.

Все живут — всякий под своими звёздами. Но в жизни каждый должен совершить хотя бы одно восхождение. Иногда это крестный путь, иногда — счастье.

И не дай Бог, если моя вершина уже позади, а я не заметила этого.

* * *

Вот и ещё одна моя мысль встречается в чужих словах, как родной человек в незнакомой одежде.

Надо бы радоваться, что ты прав, а вместо того обидно, и ревнуешь её неизвестно к кому...

«Никогда не возвращайся в прежние места...»

Как бы ни был счастлив там, как ни тянуло бы туда потом — не разрушай ощущения т о г о счастья поздними недоумёнными шагами по т е м листьям, траве, мокрым дорожкам. Они не станут прежними, пустота и сиротство прочно поселились там в твоё отсутствие.

Твоё счастье уже было.

Ты не найдёшь здесь себя — прежнего, и уйдёшь с тягостным и горьким чувством подмены, утраты.

Страшная тишина стоит там, где ты был счастлив когда-то. В этих местах живёт только прошлое, и звуки ушли отсюда, как из старых фотографий.

Нам невдомёк, что мы ищем там себя, а для этого надо жить дальше, обретая другие неповторимые переулки жизни, где так хорошо побродить однажды, по дороге к ярким улицам — а может, лесным полянам.

И всё — лишь раз, набело, один раз на всю жизнь.

* * *

Перед рассветом приснился непонятный сон.

Откуда-то сверху над синим пейзажем Гималайских гор видны были маленькие фигурки всадников.

Они мчались врассыпную, а некоторые отрывались от коней и оставались лежать распластанными, как бумажные.

Тогда надо было поскорее нагнуться и, приложив ладони ко рту, вдыхать в них жизнь — много-много раз подряд.

Склонившись над очередной фигуркой, я вдруг явственно ощутила рядом чьё-то горячее дыхание ... и от этих торопливых усилий неведомо кого — помочь — неподвижно лежащий всадник зашевелился почти сразу, ожил...

И на сильном ощущении радости сон кончился.

В середине ночи Л. вышел в сад.

Там, без малейшего оттенка цвета, все чёрно-белые, а точнее — серо-белые — стояли у дорожек цветы, деревья и кустарники.

В отчётливой тишине не было ничего сонного.

У этого двухцветного изображения не было звука, и тишина, полная и глухая, казалось, исходила от белёсого неба, где не было ни малейшего намёка на существование светил. Такое странное предутреннее безмолвие и безвременье бывает только в июле после огромных, томительно жарких дней.

Трудно было поверить, что лишь три-четыре часа назад небо было ярким, как чёрно-зелёная тушь. На нём при каждом взгляде хрустели алмазные осколки звёзд, и было ясно, что здесь только что разбили громадную хрустальную посудину.

Медовый глаз луны по-разбойничьи отливал кровью, а на облитых тьмой деревьях яростно гремели легионы соловьёв.

Их свист обрушивался вниз и тонул в волнах оглушительного унисона кузнечиков.

Великолепный, сокрушительный скандал стоял между небом и землёй, дразня невероятной полнотой жизни и мнимой доступностью...

* * *

Когда двое находят друг друга, они с радостью открывают общие черты, наклонности, вкусы.

Время идёт, и вот уже они с горечью отмечают различия во взглядах, несходство их в жизненно важных вопросах.

И забывают, что это-то несходство и было когда-то причиной, заставлявшей их радоваться малейшим совпадениям.

* * *

Душа была сначала как храм — в ней было тихо и чисто, она не знала суеты и суесловия.

Потом вдруг двери раскрылись, и в них ринулась толпа — и кто только не побывал здесь, каких сборищ не насмотрелись эти стены: от концертов самодеятельности до атеистических диспутов!

Прошло время. Толпы чужих схлынули; на полу остались грязные следы. Своды молча хранили память о святотатстве.

Наверное, здесь ещё можно прибраться, застеклить окна, подновить роспись. Но только это уже будет не храм.

Пусть даже снова эти своды услышат слова молитв, тишину. Сюда можно будет лишь приводить зевак — и показывать место, которое когда-то было свято.

* * *

Гравюра в духе Гойи: лодка полна атлетически сложенных людей, у вёсел же сидят дряхлые, страшные своею немощью старцы.

У одних пассажиров тупые воодушевлённые лица, они истово поют что-то; другие испуганно вцепились в борта и с ужасом смотрят на громадный риф, которого не видят гребцы.

Никто не пытается вырвать вёсла, начать выгребать на чистую воду. Лишь один пассажир безнадёжно, иронически улыбается.

Плывать не умеет никто.

Все мы в этой лодке. И несёт её к чертям на рифы под наше же бодрое пение.

* * *

Интересно, кто первый сочинил стихи?

Самые-самые первые? И понял, какая сила заключена в ритмически организованном потоке, в созвучиях.

Может быть, это был ворожащий шаман...

В стихах всегда поверх смысла возникает ещё и необъяснимое эмоциональное нечто, что делает воздействие слов похожим на короткий удар в сердце — он возникает только при встрече с настоящими стихами.

Интересно, что поэты, общаясь и читая чужие стихи, будто подпитываются друг от друга.

А вот если бы поставить такой эксперимент — нечто подобное совершили два джентльмена в рассказе Александра Грина: вырастить человека, никогда не давая ему читать ничего, кроме прозы, не открывая, что на свете существуют стихи.

Дойдёт он до этого сам? Скажем, воспитать его на самой прекрасной, выдающейся прозе, на лучшем, что написано на всех языках, — а стихов не давать!

Сделает сам такое открытие?

А если нет — дать ему, постигнутому все изыски языка, — Пушкина или... да любого настоящего поэта. Вот это будет шок...

... а всё-таки интересно, когда и кто первый сочинил стихи. Не рифмы придумал, а то, что начинает их между строк этакой волшебной чертовщиной...

* * *

Только за творчество и любовь человек может спрятаться от ужаса смерти.

Единственно за творчество и любовь может удержаться в жизни.

Лишь за любовь и творчество терпит Всевышний его на земле.

Ибо это единственное, что делает человека близким Творцу и что является промыслом Божьим.

* * *

Нам всё кажется, что мы знаем что-то о вечности — а значит, об отсутствии времени? Или просто о том месте, откуда мы выпали во время.

А что мы знаем о времени? Только то, что оно делает с нами...